



*Татьяна Масс*

*Рассказы  
русской  
французенки*

*Проза и публицистика*

**Татьяна Масс**  
**Рассказы русской**  
**француженки. Проза**  
**и публицистика**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24309801](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24309801)*

*ISBN 9785448527234*

**Аннотация**

«Рассказы Татьяны Масс обладают особым свойством: в них все наглядно, все живет, действует, меняется, меняет. И героев и читателей. Эти удивительные рассказы не просто читаешь. Их видишь. В русской литературе немного таких кинематографических писателей». Л. Н. Нехорошев, редактор, гл. редактор киностудии «Мосфильм» (1954—1982)

# Содержание

ПРОЗА	5
Бабушкина деревня	5
Жезла жизни	22
Моя русская няня	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

**Рассказы русской  
француженки  
Проза и публицистика**

**Татьяна Масс**

*Редактор* Александр Рубин

© Татьяна Масс, 2017

ISBN 978-5-4485-2723-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# ПРОЗА

## Бабушкина деревня Рассказ

Недавно наш друг, французский архитектор, пригласил нас на прогулку по историческим достопримечательностям соседнего региона — Бургундии. Свернув с авторута, мы проезжали местными автодорогами, путь наш пролегал через деревни. Нужно сказать, что французские деревни совсем не похожи на деревни в нашем понимании. Это ухоженные маленькие города с каменными домами и парками, вместо привычных садов и огородов. В центре такой деревни-городка, на площади обязательно возносится металлическим крестом в небо каменная церковь. Если деревня считалась богатой, то на церковной площади, как правило мощённой камнем, горожане устанавливали фонтан.

Наша прогулка заканчивалась. Осмотрев красивую старинную церковь XI века, мы выпили кофе в местном баре и отправились домой. В машине я наострила уши, услышав по радио одну французскую песенку, которую с моими двоюродными братьями и сёстрами одним летом мы часто ло-

вили на транзистор в вологодской деревне у бабушки. Помню, что именно в то лето стояла очень жаркая погода, горели вологодские леса, над деревней стлался запах дыма, и наши родители должны были вот-вот приехать, чтоб разобрать нас по домам.

В этой красивой французской песне, переведённой на русский язык, пелось о том, как каждое лето в деревне собираются братья и сёстры. Сначала они маленькие, потом вырастают, в конце собираются уже со своими детьми. Припев в этой песне был перечислением красивых французских имён Антуан, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Музыка этих имён как-то гипнотизировала нас. Она нравилась гораздо больше, чем мелодия самой песни.

И каково же было моё изумление, когда, в машине у французского нашего друга, я услышала эту песенку в оригинале, на французском языке. Дело в том, что при том же содержании все имена в припеве были русские: «Иван, Гришка, Маша, Даша», — пела французская певица с русскими корнями Мари Лафоре (*Marie Laforet*) — автор и исполнительница этой песенки «Иван, Борис и я», популярной во Франции в 70-е годы...

Смешно, но после этого недавнего случая я всё чаще вспоминаю бабушкину деревню.

Недавно ни с того ни с сего набрала в интернете её название: «*Порубежье Вологодская область*». И вышло уж совсем неожиданное: «*Деревня Порубежье Вологодской области. В XVII веке подворье Спасо-Евфимьева монастыря*». Меня как жаром полыхнуло от такого известия. Бабушкина деревня была когда-то монастырским подворьем! Это для меня было совершенно неожиданно. Никогда я не знала, что жизнь глухой заброшенной деревеньки была когда-то посвящена сокровенному православному служению. Этого не знали и мои родственники — мои двоюродные братья и сёстры, не знала даже мама.

В XVII веке духовная жизнь России была сконцентрирована в таких лесных скитах, подальше от политических дразг, войн, бунтов. Может быть, та старая раскидистая липа в центре деревни, под которой от зноя спасались овцы, помнила ещё монастырские пасхальные службы или молебны за родину в годы распрей, нашествия врагов...

Вот, наверное, отчего так тянет меня и моих двоюродных братьев и сестёр в это место, затерянное среди вологодских лесов. Невидимая благодать, в которой мы тогда жили и которой уже не находим в чужих и дальних странах, веет из наших детских воспоминаний, приходящих вразнобой, отдельными картинками.

Иду по маленькой деревенской улице. Меня только что привезли к бабушке, и я ещё робко, по-городскому, удаляюсь от дома. Беловолосая женщина в фартуке и в сапогах несёт вёдра с колодца. Поравнявшись со мной, она приветливо улыбается и поёт:

– Ой, а что это за *деушка* к нам приехала? Ты чья, милая?

– Таисьи Константиновны.

– Ой, до чего же ты хорошая, милая!

Женщина идёт дальше, а я удивляюсь сама про себя: «Что это она такая добренькая? Я же её не знаю...»

Мы, дети, бегали по деревне босиком. Однажды я порезала ногу осколком бутылки. Бабушка чуть не прибила меня сначала. Я это чувство теперь понимаю — когда мой сын-подросток поранит себя как-то нечаянно, сначала я хочу его треснуть по затылку, а потом пожалеть. А потом она обработала мне рану тройным одеколоном, служившим по её мнению панацеей от всех наших детских бед — комариных укусов, порезов, синяков и проч.

И затем бабушка пошла выяснять, откуда в траве взялись осколки стекла. Меня это удивило. Ну взялись и взялись — кто-то хватил бутылкой об землю — вот оттуда и взялись осколки! Но у неё было другое понимание:

– У нас раньше в деревне щепочки не найдёшь в зубах почистить. Вот ведь как чисто было. А сейчас — стёкла битые!

И люди поранят себя, и скотина! Кто это сделал — всё равно найду!

Вспоминается мне, что нашла и отругала она того городского внука нашей соседки бабки Христины, знаменитой на всю деревню пердуньи. Дом Христины и Гришани стоял за нашим, но бабушка с ними не водилась. Здравовалась аккуратно, по деревенскому обычаю доброжелательно, но в гости к ним не ходила никогда и к себе не приглашала. Особенно не любила она деда Гришу — невысокого старика, который умер страшной смертью в положенный час. Пришёл домой навеселе из гостей и залез в печь согреться. А его жена, бабка Христина, сослепу печь-то и затопила.

Потом уже узнала я причину такой неприязни. В 1946 году старший бабушкин сын Иван, дядя Ваня, подстрелил с дружком в лесу лося. Время было зимнее, голодное. Семья бабушки жила очень тяжело, впроголодь. Мать до сих пор иногда плачет, рассказывая нам о тех страшных временах. А по закону в то время стрелять лосей было нельзя — то ли сезонное было запрещение, то ли маразматически советское. И поэтому, когда 14-летний Иван привёз часть туши домой, сосед Гришаня стукнул куда следует. На следующий же день пришли милиционеры производить обыск у солдатской вдовы, матери 4 сирот, Куликовой Таисьи. Если бы не быстрый догадливый ум моей матери, тогда 9-летней девочки, при ви-

де милиционером на дороге утащившей мясо из дома и переправившей его в поле, не знаю, что было бы с моими дядями и тётёй, моей мамой. И с нами тоже.

Летний полдень. Я — 10-летняя девочка — валяюсь на траве и бездумно смотрю в небо. Натужно гудит шмель. С сенокосов пахнет сухой травой, а от серых, накалённых изб — пряным деревянным зноем. Мне очень хорошо так бездельничать и знать, что сейчас бабушка поставит самовар и позовёт меня пить чай. Чай пить — это только так называется. Бабушка к чаю печёт пироги — рыбник с рыбой, крутяник — помазанный сверху крупой, ягодник, липкие куски которого я таскаю с большого блюда в первую очередь. Жарко, время течёт сквозь ветхую вологодскую деревеньку из 7 домов, как мёд, значимо и густо.

Когда спадёт жара, пойдём с подружками за земляничкой на делянку за деревней. Радостное чувство огромного лета впереди: лето казалось мне тогда длинным, необозримым, как сама жизнь.

Магазина в деревне нет. За хлебом, который бабушка в такой зной не печёт, нужно идти за два километра на посёлок. Дорога идёт лесом. Мне кажется, что идти на посёлок за хлебом, сахаром, солью, конфетами — далеко и скучно. Для бабушки это называется «сбегать в магазин». Она

и за пенсией «бегает в собес». Это 17 километров в один конец. Рано утром уходит и приходит к ночи, пересчитывая при керосинке на дощатом кухонном столе свою пенсию — 24 рубля.

Наконец, бабушка зовёт меня пить чай. Мы сидим рядышком за столом с огромным самоваром, про который бабушка всегда скажет что-нибудь хорошее:

– Эх, ведь какой самовар-то, отродясь никакой накипи в нём не бывало!

Она почему-то всегда говорит это строго, будто не хвалит, а ругает свой медный самовар.

На столе блюдечко с мёдом, которое бабушка принесла из другой деревни — купила на пасеке, и ещё свежее варенье из чёрной смородины.

На стене в стеклянной рамочке чёрно-белая фотография — бабушка и дедушка — молодые и красивые.

– Баб, а у тебя здесь причёска модная — карэ! А кто вас раньше стриг в деревне?

Бабушка прыскает от смеха, и потом смеётся до слёз.

– Конюх, что лошадям хвосты стриг! *Паликмахерских* у нас тогда не было!

– А дедушка тебя очень любил?

– Хватит ужо! — не выносит таких сентиментальных разговоров бабушка.

— Расскажи про сон, *баушка!* — она любит такое мяуканье внучат: *баушка!*

— Потом расскажу, — не сдаётся бабушка.

— Ну расскажи! — целую её в мягкие морщинистые щёки.

— Ну вот ты как пристанешь! — немного сердится бабушка, но потом замолкает ненадолго, вытирает рот платочком и начинает сдержанно, увлекаясь понемногу:

— Фёдора на войну взяли в 41-м году, осенью. Мы и сено убрать не успели, и его кто-то украл — все стожки увезли. Пришлось корову продавать мне-ка. Всю-то ведь войну дети без молока!

Фёдор был на курсах пулемётчиков в Вологде, а в январе 42-го его и повезли на фронт-то. А мне ведь на рождество сон приснился: идёт на деревню перевалушка — гроза чёрная, страшная. Я с детьми то — с Шурой, Ваней, Лёней и мамой твоей в печку то и спряталась. Сижу там и вдруг слышу голос Фёдора, и шаги его по избе — громко так ходит, сапогами стучит и всё почему-то говорит: «Граждане, гражданки Советского Союза! Граждане, гражданки Советского Союза!»

Я из печи-то выбралась, а он уж уходит — я его в окне вижу — спину его вижу в белой рубашке. Я из избы за ним! Бегу, а он так быстро под горушку-то спускается, и в лес! Я бегу и кричу: «Фёдор! Фёдор!» — а он не слышит и уходит. Так я его и не догнала... Я тут же и проснулась среди ночи. Детей разбудила, поставила всех перед иконами: «Молитесь,

ваш отец погибает!»

А через месяц получила похоронку.

Иногда она расскажет про дедушку без слёз, а тут расстроилась, всплакнула.

– Ой, Таня, иди поиграй!

У бабушки погибло на войне 10 братьев, и у дедушки всех братьев война «выкосила».

Я выхожу из кухни в прохладную горницу. Пахнет свежей травой в матрасах и тройным одеколоном. В каждой комнате свой запах. В кухне пахнет кисло — тестом, молоком, печь пахнет травами, сушёными грибами, сухой малиной — всё это сушится наверху, на расстеленных старых газетах. В пустом хлеву — бабушка не держит скотину, потому что зимовать она уезжает в город, к моей тёте, старшей своей дочери Шуре, — пахнет сеном и ещё каким-то родным запахом деревянного дома. В каждом уголке дома — свой особый запах.

В этом доме родилась моя мама. На Троицу бабушка замесила тесто и собралась печь пироги, как вдруг охнула, согнулась и тут же у печи родила свою младшую дочь.

Из этого дома провожали дедушку на войну осенью 41-го года. Дом был тогда ещё недостроен, половина — там, где горница — стояла без крыши, один деревянный каркас. Всю

войну бабушка прожила с 4 детьми в кухне. Достраивали дом после войны. За это леспромхоз по субботам забирал достроенную половину дома под клуб. Два года бабушка засыпала под гармошку и топанье леспромхозовской молодёжи, отплясывающей в её доме.

Однажды, через год после войны, осенью в дом к бабушке пришёл незнакомый мужик на деревянной ноге из дальней деревни. Как рассказала мне потом уже мама, он с моим дедушкой Фёдором находился в одном вагоне, когда их в январе 1942 года переправляли из Вологды на Волховский фронт. Неподалёку от линии фронта, в лесу, поезд попал под бомбы.

— Мы с Фёдором ещё в поезде договорились держаться вместе и пообещались, если что случится с одним, другой пусть расскажет его семье. Я Фёдора последний раз видел, когда нас бомбили, и мы из вагонов-то побежали. Было страшно — деревья вырывало с корнями и переворачивало вот эдак, — мужик показывал чёрными изработавшимися руками с негнущимися пальцами. — Там почти весь поезд и остался в том лесу. Помолчав, сказал:

— Фёдора-то кажется и накрыло.

— Чем накрыло?

— Взрывом накрыло.

Бабушка всё равно ждала деда всю жизнь. Говорила мне:

– Иных ведь и не ждали, а они пришли, вернулись, пленные-то эти.

Я выхожу из дому, сажусь на раскалённое крылечко. На улице никого нет. Овцы попрятались от зноя под старой раскидистой липой у колодца. Тихо. Слышно, как высоко в небе на ноте «до» гудит самолёт.

Бабушкина деревня... Я тогда знала, что когда вырасту, уеду в другие страны, чтобы увидеть весь огромный мир: океаны, горы, жаркие пустыни. И этот мир будет гораздо красивее, чем маленькая вологодская деревня с семью деревянными избами без электричества.

Когда лесные пожары подступили к соседней деревне Беляевское, бабушка с соседкой Марьей Лашиной взяли икону Божьей Матери и пошли вдвоём по полю вокруг деревни. Мы смотрели из окон, как две старушки, худая, бабка Марья, и поплнее, наша бабушка, идут крестным ходом, иногда опускаясь на колени и кланяясь головой в землю. Пожары к Порубежью не пришли.

Была ещё до войны при деревне своя юродивая. Августина. Чем жила, где спала, как укрывалась в холода — никто не знал. Худая, с чёрной кожей, высушенной от ветров, мороза и солнца, Августина переходила из одного дома в другой. Приход её считался милостью, хотя после неё овчины,

домотканные коврики с лавок и пола приходилось выколачивать на улице, чтоб не подцепить блох, водившихся в многочисленных рваных юбках юродивой тучными стадами. Иногда она сидела на земле и ловила блох в своей одежде, что-то приговаривая при этом.

В марте 1941 года при первых солнечных лучах моя семилетняя мать с подружкой, играя у колодца, подслушали слова Августины: «Радуйтесь, радуйтесь! Недолго вам ещё осталось!»

Другие — бабы — тоже слышали это. Даже спросили у неё ласково:

– Августинушка, да что ты там говоришь-то?

Августина не слушала радио и не читала газет, но каким-то своим особым, настроенным на природу чувством, ощущала уже страшную перевалушку-грозу, накатывающую на Россию.

В войну она точно предсказывала появление похоронки в доме.

К бабушке она пришла в сентябре. Хотела войти в сени, но вдруг завывла:

– Ой, не пойду, там страшно! Там гроб в сенях!

Бабушка в это время шла с полным подойником из хлева. Услышав эти слова, она уронила ведро, разлив всё молоко.

Есть в деревне одна тайная история, которую я обещала

бабушке никому не рассказывать. Но прошло время, и почти все участники этой драмы закончили земное существование.

Жила в деревне, в большом двухэтажном доме с редко посещаемой чистой горницей наверху, семья. Худая, изработанная тётя Фаина, страдальца, натерпевшаяся от своего задиристого мужа-алкоголика дяди Василия, их младший сын, помощник по дому, по хозяйству — Коля. Старшие дочери уже повыходили замуж и разъехались по городам. Все они были рыжеволосые, высокие, очень красивые. Коля был моим деревенским дружкой. Рыжий, домовитый парнишка, помощник матери. Катал меня на телеге, впрягаясь вместо лошади, учил курить за огородами. Когда мы повзрослели, наша дружба как-то сама собой закончилась. Коля ушёл в армию, затем женился в Ярославле. Ещё до его службы в армии умер его отец Василий... Странно умер. Просто не проснулся после очередной пьянки.

Фаина призналась моей бабушке, что это Коля, устав страдать за свою вечно избитую, изруганную мать, однажды придушил спящего пьяного отца подушкой.

И его через три года сбил грузовик в Ярославле. Бабушка жалела Фаину, горевала вместе с ней, но считала, что гибель Коли — это Божья кара за отца.

– У нас в деревне ни один грех никогда не оставался безнаказанным. Кто-то захочет утаить что-то недоброе, а всё

равно Божья правда выйдет на свет.

Однажды мы — дети — гурьбой вышедшие в лес по ягоды, набрали на необыкновенный малинник. Таких высоких кустов со свежими шелковистыми листьями, такой крупной и сладкой малины я никогда больше не видела. Мы наперегонки стали рвать малину, потом оказалось, что её тут много. Разбредаясь по всему малиннику, мы перекликивались набитыми и перепачканными ягодой ртами. Удивляясь недогадливости других, не нашедших такое богатое место, мы, впрочем, обратили внимание на то, что малинник тот разросся по заброшенной деревне. Сухие брёвна и доски, пригорки, на которых раньше стояли дома, обваленные колодцы — всё поросло малиной. И принеся домой полную корзинку, я деловито рассказала бабушке, что недалеко в лесу — километрах в двух от Порубежья — мы нашли огромный малинник. И что завтра тоже туда пойдём. Уже договорились.

Бабушка перестала выкладывать малину на газету (она всегда запасала сухую малину на зиму) и выспросила меня, где мы нарвали её. После моих объяснений, она как-то, сжав лицо, пошла выбрасывать малину на улицу, за огород.

— *Что!* — почуяв что-то неладное, пристала к ней я.

Когда бабушка мне рассказала, почему никто не рвёт ту малину, меня чуть не стошнило от той малиновой сладости, которая всё ещё оставалась во рту, превращаясь в горечь.

С тех пор я не ем малины. Не люблю.



В 20-е годы на том месте стояла деревня. Однажды ночью всех жителей этой деревни убили. Бабушка сказала так: «Антанта прошла». И совсем недавно я увидела карту высадки англичан в Мурманске в 20-е годы. Они действительно тайным броском шли к Москве через Вологодскую область. При своей впечатлительности я тогда ярко представляла себе картину — вот живёт деревня, вот женщины ночью потушили печи, чтоб не было угара, укачали детей в люльках, при-

вязанных к потолку, вот мужчины затушили свои последние самокрутки, серьёзно разговаривая с соседями о будущих хозяйственных делах. Деревня погрузилась в сон. Ночью туда вошли военные и тихо, без выстрела, прикончили спящих людей. «Неужели есть такие цели, ради которых можно убивать людей?» — думала я. Я понимаю сегодня, что серьёзность размышлений у детей бывает чище и сильнее. Они могут мыслить без компромиссов, потому что ещё не знакомы с политическими объяснениями преступлений.

Когда мне было лет 15, бабушка повезла меня и Наташу — мою младшую двоюродную сестру в Вологду, в церковь. Мне до сих пор стыдно вспоминать... Я встала на колени и стала класть земные поклоны. А в сердце было пусто. А просто хотелось выпендриться. Бабушка мне не сказала ни слова. Она просто и серьёзно смотрела на меня, и в глазах у неё было столько жалости ко мне — «вольнице», как она называла меня иногда. Как будто она видела мою будущую жизнь: мои метания из религии в религию, разочарования, и даже эмиграцию.

Сегодня на Порубежье пусто. Там никто не живёт. Деревня зарастает мелколесьем и малиной. Я разыскала в программе *Google Земля* то место, где была деревня Порубежье, и захожу туда в интернете. Иногда поплачу по бабушке, деревне, своему детству. Даже несентиментальный мой двоюродный

брат Володя, бизнесмен, который живёт в Вологде, говорит мне по телефону, что есть у него одна мечта – когда вырастут его дети, вернуться на Порубежье, вырубить избушку и стареть там, где жил наш дед и родился его отец, тот самый бабушкин сын Иван, который подстрелил лося голодной зимой 1946 года.

*2007. Париж*

# Жезла жизни

## Рассказ

В мастерской жёлтый солнечный свет падает из всех окон. В лучах — мириады пылинок, которые не собираются осесть на пол и на свежие холсты. В раме окна тоже картина — мощёная мостовая старого прибалтийского города, разноцветные маленькие дома — как приготовленная декорация в средневековом спектакле о той единственной роковой любви, горше и слаще которой нет на свете.

— Эта тебе нравится? — спрашивает муж, прищуриваясь на среднего размера холст. Жена впивается в новый натюрморт — вытянутые сосуды, старый кофейник, копчёная рыба. Всё старое, потрескавшееся, изношенное, в тёмных коричневатых тонах. Отдаёт Шемякиным, альбом которого он привёз недавно из Питера.

Она спрашивает:

— Почему ты любишь смотреть на старые лица?

— А ты всё светленькое такое предпочитаешь?

Почувствовав его обиду, она отмечает это подозрение в пристрастии к банальному светлому:

— Нет, мне нравится тёмное — *Брак!* Помнишь, мы смотрели в Эрмитаже — натюрморты с чёрной рыбой?

— Но ты всё же любишь цветочки, — не сдаётся он.

– Смотря какие, — не уступает она. Если уступит, он потом долго будет звать её любительницей цветочков. Он никогда не прощает таких важных мелочей.

Разговора о его последних работах не получается. Сегодня он увозит их в Питер продавать.



*Жорж Брак. Чёрные рыбы. 1942*

Обычно лучшие работы он сдавал в частные галереи, другие продавал сам. Для этого в центре Питера, у решётки Екатерининского сада, абонировал стенд и выставлял на нём свои холсты. Чаще всего покупателями были иностранные туристы, который предпочитали не морочиться обменом валюты и платили «зелёными». Раньше Вадим учился в Питере в Репинке — в Академии Художеств, и поэтому любил туда

ездить, отмечая встречи с бывшими однокурсниками, напоказ пьяными художниками, разговорами об искусстве и о политике.

Он бы и подольше задерживался бы там, у своих друзей, но Танька, его жена, требовала присмотра, как он считал.

— А ты что тут собираешься делать? Опять лицо намажешь и в редакцию байки строчить? — как бы между прочим, спокойно спрашивает он. Он никогда не показывает открыто своей ревности, прикрываясь нелюбовью к газетам вообще.

— Я лицо крашу не для того, чтоб кого-то закадрить! Я не могу ненакрашенная выйти из дома! — терпеливо говорит она и при этом думает, что это звучит наивно, это не на том уровне, на каком нужно говорить им между собой. Она пишет серьёзные статьи, встречается в парламенте с политиками от партий любого толка — националистами, коммунистами, фашистами. Там её речь кажется умнее и продуманнее. С мужем она говорит, как с глухим, — чётко, громко, простыми фразами!

При этом она умирает от любви к нему. И терпеливо принимает все его ревнивые выпады, пытаясь каждый раз объяснить их беспочвенность. Она горит на этом медленном огне уже третий год, понимая, что жить так всегда невозможно. Однажды после очередной ссоры, когда она сидела в пустом кабинете в Доме Прессы и пыталась писать свой материал, вдруг позвонил муж и сказал, что больше не может жить без

неё. Через две минуты она была уже внизу на остановке.

В переполненном троллейбусе она ощутила внезапный прилив любви ко всем людям — всех ей стало отчего-то так жалко, что даже в носу защипало. Все люди, окружавшие её в тот миг, показались ей обездоленными, несогретыми, не любимыми никем. Их уставшие лица говорили о безнадежности всех человеческих усилий обрести чью-то любовь. А она была любима... В толчее пассажиров она считала минуты до встречи с ним в его пыльной мастерской в центре города, и вдруг в её голове пронеслось ясное воспоминание — точно так же она спешила к нему месяца три назад после ссоры, и примирение тогда было таким полным, что, казалось, больше им уже просто не о чем было спорить. Но вскоре они опять поссорились и вот опять она спешила к нему в мастерскую для полного примирения.

«Значит, это повторится ещё не раз!» — как будто ужалила её мысль. — «А может ему нравится жить на таком адреналине?» — и это открытие поселилось в ней первой бабьей мудрой усталостью.

Он паковал холсты, она помогала ему обвязывать их верёвочкой, но он отбирал картины у неё и делал эту же операцию точнее. Она не могла отвести взгляда от его небольших умных рук. Она любовалась и его руками, и его жестами — особенно, когда он курил. Когда она смотрела, как он

прищуривается, разговаривает, курит, смеётся, она растворялась в нём и даже дышать начинала реже. Он невысокий складный, с длинными волосами, и бородой, которая доводит до слёз его бабушку.

– Вадик, сбрей бороду! — умоляет худенькая старушка, и гладит высохшей морщинистой рукой его по плечу, чтоб не разозлить.

– Бабуля, отстань! — мягко ворчит её внук, и если в голосе его слышится нетерпение, бабушка отступает.

Если нет, она ещё немного уговаривает его, и между ними обычно происходит при этом такой обмен понимания и любви, что Таня немного ревнует, чувствуя себя лишней в этой пьесе.

На прощанье на вокзале она чуть не заплакала. А он поцеловал её крепко, и глядя в глаза, попросил:

– Танька, обещай мне не ходить в редакцию эти шесть дней. Можешь это сделать для меня?

Она — как под гипнозом — пообещала:

– *Ок*, я буду дома, я заболею.

Вернувшись с вокзала, Таня закрылась дома на шесть дней. Перед этим она накупила хлеба и сигарет и позвонила редактору газеты, предупредить, что заболела. Редактор уже как-то и так криво смотрел на неё в последнее время, а в этот раз и вообще говорил очень с ней холодно.

«Ну и хрен с ним! Мне всё равно,» — успокоила себя

она. – «Я и вправду себя как то неважно чувствую!»

Она смотрела телевизор, курила, пыталась звонить подругам, но все были на работе.

Таня достала из кладовки вязальную машину «Северянка», которую он купил ей несколько месяцев назад. У него — её мужа — была мечта: жена-домохозяйка. А она, чувствуя свою вину перед ним, всегда скучала дома. Ей было мало кухонных дел, она была отзывчива к чужим проблемам — факультет журналистики МГУ приучил к некоторой социальности — и ей постоянно нужно что-то делать для людей — помогать сирым и убогим, разоблачать каких-нибудь мерзавцев.

– Просто так жить и жрать я не могу! – однажды кричала она ему на какой-то пьяной вечерине, приняв грамм двести дорогого коньяку. Вечеринка эта проходила в Академии Художеств, и Вадим, глядя, какими глазами провожают его жену студенты и преподаватели, поклялся никогда больше не приводить сюда свою жену. А она ничего особенного не заметила. Видела только его. Даже когда разговаривала с другими.

Он был гениальным художником — и в этой прибалтийской республике, куда она приехала из Москвы из-за него — ей часто говорили о его необыкновенном таланте колориста, и ей это причиняло боль. То ли она понимала, что его предназначение выше, чем её байки для республиканской еже-

дневной газеты, то ли боялась, что не справится с этой исторической ролью жены гения?

Она решила связать ему джемпер. Закрывшись, как в тюрьме, в собственном доме, установила вязальную машину, смазала её маслом и принялась перематывать шерсть из мотков в клубки. Электрическая перематка на машине не работала, ей пришлось перематывать вручную. Для этого подошли ножки маленькой табуретки, на которой она растянула моток.

Разматывая шерсть, она вспомнила кадр из фильма по повести Тургенева «Первая любовь»: там барышня мотала клубки с помощью своих многочисленных поклонников.

Какая-то обида пронеслась было в воздухе, потому что Таня была тоже красива — это ей говорили те, у кого она брала интервью, режиссёр с киностудии, пожилой усталый человек, который недавно поработал с известной красавицей киноактрисой, сказал, что Таня в кадре смотрелась бы лучше. И его редакторша — мудрая пожилая еврейка — тоже сказала, что Таня очень красивая, что она должна была бы стать актрисой, а не журналисткой. В университете её снимал известный фоторепортёр, чтобы продать её лицо в какой-то модный журнал, но Вадим это дело запретил строго-настрого. Сам он не рисовал её, но его профессор заметил, что во всех портретах, которые делает Вадим, видно лицо Тани.

— У этой барышни не было Вадьки! — развеяла свою обиду Таня.

Вот он как раз и звонит:

— Милая, как ты? — Боже, какой любимый голос!

Она тут же зарядилась от него энергией на десять таких клубков!

— Ты доехал? — слова простые, а её голос звенит и искрится.

— Ты дома?

— Да!

— Я проверю ещё попозже!

«Я свяжу ему самый красивый джемпер на свете,» — решила Таня. Она открыла альбомы с его любимым Босхом, Брейгелем, малыми голландцами, выбирая цвета и композиции, которые ему обязательно понравятся.

Жухловатые тона — красный, жёлтый, зелёный в полоску и разбавлю серым, чтоб не было так разноцветно — в конце концов решила она. Все цвета у неё были, кроме жухлого зелёного.

Пришлось распустить свой свитер, который она связала ещё в Москве по выкройке из «Бурды Моден».

Вся эта суета с нитками затянулась до вечера, Таня легла спать поздно, поговорив ещё раз с мужем, позвонившим около одиннадцати ночи.

Серое утро балтийской зимы застало её за работой — времени было не так уж много.

Конечно, для какой-нибудь там опытной вязальщицы связать один джемпер на машине — это дело одно. А для неё — читающей по инструкции метод соединения вязальных петель на машине «Северянка» # это уж совсем другое дело. Если вспомнить мамину поговорку, что у нашей Тани руки не из того места выросли, то оставшихся пять дней на самый красивый джемпер, это рискованно. Можно просто не успеть!

Она вязала, вязала, иногда снимала, перевязывала, придумывала новое, например, петли для трёх пуговиц на широкой планке впереди у кругло-вывязанного горла. Так и прошёл день, ознаменованный телефонными звонками мужа и редакторши отдела социальных проблем, Натальи Севидовой.

– Ты скоро выйдешь? — спросила Наталья.

– А что?

– Есть интересная командировка — это по твоему материалу о монархистах. У них съезд в Москве намечается, редколлегия решила послать тебя.

– Когда? — загорелась Таня.

– Послезавтра съезд, а завтра вечером нужно выезжать.

– Я не могу, — после паузы ответила Таня.

Положив трубку, она схватилась за вязание с такой горячностью, что порвала сразу несколько петель кареткой.

Разбираясь, поняла, что устала, включила телевизор. По российским новостям передавали про готовящийся съезд монархической партии<sup>1</sup>. Мелькнуло в кадре несколько знакомых лиц. Два месяца назад она привезла из Москвы интервью с председателем этой партии Энгельгардтом-Юрковым. Материал был перепечатан несколькими центральными изданиями и зарубежным «Русским словом». Поэтому Таня стала специалистом по монархистам, а заодно и другим неформальным партиям, в своей газете.

Ей очень хотелось поехать, опять впасть в этот сюрреализм прославления принципов монархического правления молодыми агрессивными монархистами! Хотелось вдохнуть другой жизни и рассказать о ней так вкусно, чтоб местные домохозяйки забыли о своих делах и побежали бы звонить друг другу, чтоб говорить: «К чему печатать такие статьи?»

«Ну нет, хватит,» — она выключила телевизор, и принялась вязать джемпер для своего любимого мальчика, мужа, художника. Приговаривая так, она выбросила из головы монархистов, и редакцию, и свои успехи, и свою красоту. Да и зачем ей всё это, если его рядом нет?

– Танька, это я!

– Как ты там?

– Соскучился!

Ожидая от неё такого же ответа, он напоролся на вопрос:

– А картины продаются?

– А ты?

– Что «ты»?

– Ты соскучилась?

– А картины продаются? — упрямилась почему-то она.

– Тебя что, заперло сказать, что соскучилась?

Она рассмеялась, а он ещё ворчал минуты две в трубку, что звонит ей, а она не может нормально поговорить с ним.

Весь третий, четвёртый, пятый день она вязала. Болела спина, заслезились глаза, она как-то отупела. Просто гоняла каретку и считала ряды. В каждой полосе по двенадцать рядов. Если ошибёшься, придётся распускать. В нормальной машине это должен делать счётчик, а в её «Северянке» этот прибор не работал.

На шестой день она отпарила утюгом отдельные детали — спинку, перед и рукава, и начала сшивать их специальной иглой. Закончила только после обеда.

А нужно было ещё убрать весь дом — разноцветные нитки валялись даже на кухне. Уже вечером она заглянула в зеркало и увидела своё бледное уставшее лицо с красными глазами. Она подурнела от этих шести дней взаперти.

Вадим приехал утренним поездом, она встретила его на вокзале, они отправились сначала в мастерскую, где он распаковал новые кисти, краски, холсты, рамки, что привёз

из Питера.

Пообедав в ресторане, пошли домой. Таня, едва вошли в квартиру, сказала:

– Я приготовила тебе подарок!

Она принесла джемпер, но он, едва посмотрев на него, уже потянулся к ней соскучившимися руками, губами.

– Потом посмотрю!

Потом посмотрел, примерил даже на голое тело.

– Посмотри, какой сатир с волосатыми ногами! — прохаживался перед ней Вадим в новом джемпере, вызывая игривый Танин смех.

Таня знала эту его манеру говорить о человеческом теле — даже о своём — отстранённо. Сначала это казалось ей цинизмом, потом она привыкла. И сама рассуждала иногда у его этюда с «обнажёнкой» — так художники называют обнажённую натуру: «Какой тяжёлый зад у этой натурщицы. Она некрасивая».

– Тань, ну что за оценка — «красивая-не-красивая»? Это же не модель для подиума, — отзывался из глубины мастерской муж. — Это рожавшая сильная женщина. Вот посмотри, — он подходил к своей работе и мерил пальцами пропорции тела изображённой им же самим натурщицы. — Крепкие тяжеловатые ягодички, бёдра такие же — широковатые, непропорциональные на первый взгляд. Ноги крепкие, вынашивать ребёнка легко таким бабам. Вот кого она мне напоминает: каменную скифскую бабу — символ плодо-

родия и материнства. Они умели вынашивать и рожать детей без акушеров и роддомов. И делали это как бы между прочим, часто и всю жизнь. Иначе скифы бы не выжили в постоянных войнах. Поэтому и понастроили памятников этим бабам по степям.

— А, действительно, мужчинам-скифам нет ни одного памятника! — восклицала Таня.

— Ой, да ладно вам! — спохватывался Вадим. — Вы бабы — всё равно пустота, вам нужно только рожать. А у нас — мужиков — есть *жезла жизни*. Вот такая смешная вроде форма — трубка. А в ней заключён секрет жизни, — ёрничая, но при этом серьёзно говорил он. В таком же отстранённом тоне, как о чужом теле, рассуждал о величии своей «жезлы жизни», о целесообразности и продуманности места «жезлы» на мужском теле. Дурачась, закутывал жезлу в *бороду*, призывал представить себя оскоплённым и, горячась, утверждал, что вся Танина любовь исчезла бы без следа, не будь у него этой самой жезлы жизни.

— Нет, не исчезла бы! Моя любовь не совсем уж ниже пояса, — злилась Таня. Но представить мужа без «жезлы жизни» не бралась.

— Да хватит врать, — не слушал он её, — пока моя жезла со мной, и ты со мной. Знаю я тебя.

Потом он снял джемпер. И больше уже почему-то никогда в жизни не надел его. Хотя сказал, что красиво получилось. Да и она видеть не могла этот джемпер. Тошнило её от него.

И от «Северянки» тоже. Сразу вспоминались те шесть дней добровольного заточения.

Через год она разбирала шкаф, нашла джемпер и решила подарить его одному хорошему человеку — другу семьи, энтузиасту, пушкинисту. Пушкинист обрадовался, и однажды Таня увидела его в этом самом джемпере по телевизору.

А с Вадимом они разошлись года через два. Таня ушла.

*2007. Париж*

<sup>1</sup> Речь идёт о «Православной конституционно-монархической партии России (ПКМПР)» и о «Союзе ревнителей памяти императора Николая II».

# Моя русская няня

## Рассказ Элизы Шарер

*Я – французженка, родилась в Париже. Отец мой был инженером, хорошим специалистом, и поэтому в конце 30-х годов его пригласили в Америку на работу в одну крупную промышленную компанию. Вот так получилось, что мы пережили Вторую мировую войну за океаном, – нам повезло, что мы не видели нацистов на улицах Парижа.*

В 1945 году папе предлагали продлить контракт в США, но он отказался, потому что война заканчивалась и родители мечтали поскорее вернуться во Францию. Мы приехали в Париж в июне 1945 года. Все военные годы наша парижская квартира простояла закрытой, и родители нашли её непригодной для жизни. Они решили провести капитальный ремонт. Папа сам сделал чертежи, составил смету, нашёл рабочих, мама активно ему помогала. Встал вопрос: что делать со мной, десятилетним ребёнком, на время ремонта? Решено было отправить меня под присмотром няни в наше сельское поместье в Бордо.

Мама принялась искать няню. Она хотела найти надёжную и образованную женщину, но на собеседования приходили в основном испуганные беженки из Восточной Европы,

по разным причинам не желавшие возвращаться на родину. Губернантики-француженки ехать в Бордо на два с половиной месяца не соглашались. Поиск затягивался.

– Они все, как одна, безграмотны! – сетовала мама. Согласно её плану, няня должна была все лето натаскивать меня по французской грамматике. Наконец однажды, когда я копала траншею в куче строительного мусора посреди разрушенной гостиной, мама подозвала меня и представила молодую девушку:

– Элиза, это твоя няня. Мадемуазель Анна Полякова.

Я сразу почувствовала какой-то удивительный медовый запах от её одежды. Ани была очень красивой девушкой. Особенно хороши были её глаза – даже не голубые, а по-настоящему синие. Их взгляд притягивал так, что на её лицо постоянно хотелось смотреть. Когда наш поезд на пути в Бордо проверял военный патруль, я, наблюдательная, как все десятилетние французские девочки, подметила, с каким восхищением оглянулся на неё молодой офицер...

Приехав, мы нашли поместье в ужасном состоянии. Во время войны там укрывались какие-то беженцы, которые не берегли своего временного пристанища. Мы долго и трудно открывали проржавелый замок, а, войдя, поняли,

что не нужно было так трудиться: огромные окна, выходявшие в сад, были разбиты – мы могли бы спокойно влезть через них. Темнело, моя няня была растеряна, а я чуть не плакала при мысли, что в этом страшном пустом разорённом доме нам придётся прожить целых два месяца. Электричества не было, водопровод не работал.

Мы сели на уцелевшие стулья и молча посмотрели друг на друга.

– Я вас очень прошу, Ани, давайте вернёмся в Париж! – взмолилась я.

Она ответила мне известной русской пословицей, которую я уже не помню дословно, но её смысл был в том, что лучше подумать утром, а не вечером. Затем она пошла к соседям, принесла воды, свечей, мы умылись, приготовились ко сну...

Спали на чердаке, забаррикадив двери от вторжения ночных воров. Эти подробности, наверное, уже мало кому интересны, но я всё так хорошо помню! И сейчас мне кажется почти прекрасным запах мышей, пропитавший стены нашего чердака, – ведь это было моё детство... Моё детство...

Ани разбудила меня рано. Приготовила завтрак. Она нашла стекольщика, который уже пришёл чинить окна. Несмотря на все наши бытовые проблемы, Ани в первый же

день провела для меня урок русской литературы. Она прочитала мне рассказ Толстого «Лев и собачка». О, я его очень хорошо поняла, потому что, уезжая из Америки, мы оставили на попечении соседей нашу собаку, скучая по которой, я даже плакала иногда. Заплакала я и на уроке, представив, что нашего доверчивого Чарли отведут в Нью-Йоркский зоопарк, в клетку со львом.

Ани не стала меня утешать. Она смотрела с улыбкой и говорила, что это хорошо, что я плачу. Я на неё обиделась. Почувствовала себя страшно одинокой и никому не нужной. Родители меня не любят, думала я. Они отправили меня в деревню! С такой холодной и жестокой русской! А сами сейчас, наверное, ужинают в ресторане или пошли в синема...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.